

В ШКАФУ БЫЛО ТЕМНО, ДЕТЕКТИВ ВЫ ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬСЯ

ТЕНИ РАЗУМА

ЧЕТВЕРТАЯ СТЕНА

ДЖОН ГРИШЕМ



Evan Gresham

Тени разума четвертая стена

Серия «Тени разума», книга 4

<https://litres.ru/74493704>

SelfPub; 2026

Аннотация

Семь лет. Футболка с Бэтменом — рукава ниже локтей. Ладони на рту, чтобы крик не выдал. Два белых полумесяца глаз в темноте шкафа.

Двадцать пять лет назад детектив Картер подписал одну строку: «Несовершеннолетних свидетелей нет». Дверца за его спиной скрипнула. Он не обернулся.

Теперь мальчик вырос. Стал судмедэкспертом. Режет скальпелем — один проход, без второго, как на вскрытии. В запертых комнатах. Исправляет каждую ошибку Картера. Семь имён в списке. Четыре зачёркнуты. У убийцы — мезотелиома и три недели. У Картера — стёртая память и подпись, которую он не помнит. Но рука помнит. Рука всегда помнит раньше головы.

Четвёртая стена — не комната. Не замок. Ты. Заперт изнутри. Ключ всегда лежал у тебя в кармане. Ты просто боялся повернуть.

Мальчик считает вдохи. В темноте. Двадцать пять лет. Ждёт, что кто-то включит фонарик.

Откроете дверцу? Или снова пройдёте мимо — как прошли тогда, не обернувшись на скрип?

Содержание

ГЛАВА 1. ЧУЖОЙ ПОЧЕРК НА МЁРТВОМ СТЕКЛЕ	5
ГЛАВА 2. ПЕПЕЛ И ЦЕПОЧКА	17
ГЛАВА 3. ИМЯ В АРХИВЕ	24
ГЛАВА 4. ОСКОЛКИ И ИЗНАНКА	35
ГЛАВА 5. ТРИСТА СОРОК СТРАНИЦ	46
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Evan Gresham

Тени разума

четвертая стена

ГЛАВА 1. ЧУЖОЙ ПОЧЕРК НА МЁРТВОМ СТЕКЛЕ

Вода пахла ржавчиной и хлоркой — коктейль, которым город потчевал своих жителей с ноября по март, когда трубы в доме Картера начинали выть.

Он стоял над раковиной, уперев ладони в мокрый фаянс, и смотрел на лист бумаги. Бумага была влажной. Пот стекал по предплечьям, капал на кафель, оставляя тёмные метки. Он рисовал лицо. Или то, что от него осталось. Овал. Две линии вместо глаз. Точка. Ещё точка. Родинка слева, над губой. Рука выводила линии, которые мозг не отдавал. Карандаш чертил рваные шрамы. Овал превращался в бесформенное пятно. К третьему кругу он уже не мог вспомнить, рисует подбородок или скулу. Бумага рвалась. Он брал новую.

В раковине лежали четыре смятых листа. Пятый он держал. Шестой ждал на краю полки, рядом с пузырьком пропранолола — три таблетки осталось.

Картер бросил карандаш, вытряхнул таблетку на ладонь, проглотил без воды. Горечь ударила в корень языка. Он сглотнул, морщась. Препарат ещё не начал работать, но сам жест глотания дал иллюзию облегчения.

За окном шумел ливень. Калифорнийский, ноябрьский. Он смывал с холмов грязь, накопленную за лето сухости. Голливудские холмы пахли мокрой землёй и бензином. Неон вывесок на Сансет расплывался в стекле.

Картер смотрел на свои руки. Пальцы сгибались и разгибались сами по себе, будто каждая фаланга жила отдельно и пыталась вспомнить что-то, что ей приказали забыть.

Телефон зазвонил в коридоре. Звук доносился приглушённо, сквозь стену, сквозь шум воды в трубах, сквозь гул дождя. Картер не повернулся. Телефон замолчал, начал снова. Картер вытер руки о полотенце — влажное, пахло плесенью — и вышел в коридор, шаркая босыми ногами по холодному дереву.

Экран светился в темноте квартиры, как ночник в детской. Имя заставило его остановиться посреди коридора, в одних трусах, с мокрыми следами на полу.

ДИЕГО РАМИРЕС.

Он не звонил два года. С тех пор, как Картер уехал. С тех пор, как сказал: «Я больше не могу, Диего. Не могу видеть этот город. Не могу видеть тебя. Не могу видеть ничего, что напоминает».

Рамирес тогда молчал. Долго. Потом сказал одно слово

по-испански. Картер не понял, какое. Может, «прости». Может, «иди».

Картер принял вызов.

— Уилл.

Голос был старый. Хрипота сидела в горле, как мокрый песок. Слова он выталкивал с усилием, будто каждое нужно было поднять со дна и протащить через что-то тесное.

— Диего.

— Уилл, тебе нужно... это Вейн. И это... — Кашель. Глухой, мокрый, прямо в трубку. Пауза. — Прости. Простуда. Третий день. Это... это твоя работа, Уилл. Твоя старая...

— Диего. Медленнее.

— Вейн. Мёртв. Горло. Дверь на цепочке. Изнутри. Я не... — Он запнулся. Начал заново. — Я не знаю, как тебе это... Просто приезжай. Пожалуйста.

Картер закрыл глаза. Вейн. Имя упало в желудок, как камень в колодец.

Вейн. Психиатр. Голливудские холмы. Пять лет. Пять лет назад Картер лежал на кушетке в его кабинете и говорил: «Заберите её лицо. Я не хочу помнить. Я хочу просыпаться и не видеть. Заберите. Я заплачу сколько угодно».

И Вейн забрал. За двести долларов сеанс и горсть препаратов, которые не значились в реестре. Забрал лицо девочки и оставил запах. Бетон. Кровь. И что-то ещё, что Картер не мог назвать, но что просыпалось каждый раз, когда он закрывал глаза дольше чем на три секунды.

— Я не еду, Диего. Я рисую овалы. Пять лет рисую овалы. Этого достаточно.

Тишина. Рамирес дышал в трубку тяжело, с присвистом. Потом сказал — тихо, почти себе:

— Дверь была закрыта изнутри на цепочку, Уилл.

Картер не ответил. Не мог. Эта фраза — с ударением на «изнутри», с хрипотой на последнем слоге — была кодом. Ключом, который они придумали двадцать пять лет назад, в первую ночь напарничества, когда приехали на вызов в мотель на Сан-Педро и нашли запертую комнату. Рамирес, молодой, двадцативосьмилетний, с усами, которые ещё не начали сесть, сказал: «Дверь изнутри на цепочку, Уилл, а цепочка не сорвана, а окно замазано краской, и я не понимаю, как он вышел».

И Картер, двадцатипятилетний, амбициозный, с глазами, которые ещё не научились отводить взгляд от мёртвых, ответил: «Значит, он не выходил. Значит, он был внутри. Всё время».

Четверть века. И Рамирес произнёс эту фразу сейчас. В три часа ночи.

— Еду.

Он положил трубку.

Картер не понимал, почему едет. Понимал только, что руки уже застёгивают ремень, а голова ещё не дала разрешения. Руки были старше. Руки помнили.

Дворники не справлялись. Ливень лил на лобовое стекло

сплошной стеной, жёлтые огни полицейских машин расплывались в воде. Картер припарковался в тридцати метрах от дома. Вышел. Дождь ударил в плечи, в макушку, в шею. Холодная вода потекла за воротник. Куртку он не застегнул — руки достали значок из ящика комода, где тот лежал рядом с просроченным купоном на мойку и жвачкой, которая окаменела. Картер сунул его в нагрудный карман. Металл был холодный и пах ящиком. Как всё, что лежало там пять лет.

Жёлтая лента. Двое патрульных у крыльца. Фургон криминалистов. Картер прошёл под лентой, нагнувшись. Один из патрульных — молодой, с прыщом на подбородке — открыл рот, чтобы спросить, кто он такой, и закрыл. Узнал.

Патрульный отвёл взгляд. Картер привык. Три года назад на него смотрели как на икону. Теперь — как на памятник, который забыли снести.

У двери стоял Коул. Тридцать лет. Короткая стрижка. Жевал жвачку. Пиджак топорщился — был на размер больше и куплен недавно, плечи ещё не приняли форму чужих плеч.

— Мистер Картер, хорошо, что вы здесь, я просто хотел сказать, что там горло. И цепочка. И я не пони...

— Помолчи, Коул.

Коул замолчал. Жвачка остановилась. Он моргнул. Не обиделся. Просто замолчал, потому что в голосе Картера было что-то такое, от чего спорить не хотелось. Усталость. Не злость.

— Я не уверен, что это хорошо, что я здесь, — сказал

Картер. — Но я здесь. Это хуже.

Коул не ответил. Сунул жвачку за щёку. Зажевал снова.

Картер присел у порога. Луч фонарика упал на паркет. Дуб. Тёмный. Лакированный. И на нём, в трёх сантиметрах от дверного косяка, — царапины. Мелкие. Параллельные. Четыре штуки. Не от обуви. Не от мебели.

Картер провёл по ним ногтем. Свежие. Лаковый слой снят до дерева. Кто-то затирает следы. Шваброй. Грубо. Наспех. Но швабра оставила микро-царапины в лаке.

— Четыре борозды, — пробормотал он себе под нос. — Щетина. Жёсткая. Не тряпка. Кто-то торопился. Или не умел.

Коул присел рядом.

— Я не заметил.

— Ты не смотрел. Ты смотрел на цепочку. Все смотрят на цепочку. Цепочка громкая. Пол тихий.

Картер встал. Колени хрустнули. Пятьдесят лет. Каждый год оставлял в суставах по осколку.

Он вошёл в дом.

Кабинет Вейна пах старой кожей и чем-то химическим, острым, как спирт, которым протирают инструменты. Дождь стучал в заколоченное окно — гвозди, четыре штуки, толстые, ржавые, вбиты недавно, потому что вокруг шляпок древесина была светлой, не потемневшей.

Картер посмотрел на гвозди. Потом на окно. Рама старая. Краска вздулась. Но гвозди новые. Убийца не просто закрыл

окно. Убийца заколотил его. Намеренно. Грубо. Так, чтобы не осталось щели. Так, чтобы никто не мог сказать: «А может, оно было приоткрыто».

Десять лет назад. Дело «Голливудского потрошителя». Картер вёл его. И допустил ошибку. Оставил окно приоткрытым. Не зафиксировал. Не задокументировал. Адвокат убийцы ухватился: «Окно было открыто, детектив. Мой клиент мог войти через окно. Вы не исключили эту возможность». И дело развалилось.

Картер помнил, как адвокат улыбался. Помнил, как судья смотрел на него поверх очков. Помнил, как он вышел из зала и курил три сигареты подряд, и руки тряслись, и он думал: я мог закрыть это окно. Просто закрыть. И всё было бы иначе.

А теперь кто-то заколотил окно гвоздями. В комнате Вейна. В запертой комнате. Кто-то знал. Читал. Помнил ошибку двадцатипятилетней давности. И исправил её. За Картера.

Он повернулся к телу.

Вейн сидел в кресле. Кожа тёмная, потрескавшаяся. Голова запрокинута. Рот приоткрыт. Глаза смотрели в потолок, и в них уже не было удивления — осталось только стекло, мутное, серое, как ноябрьское небо над озером.

Горло было перерезано. Не просто перерезано. Линия была идеальной. Ровной. Тонкой. Не рваной, как у того, кто режет в спешке. Хирургической. Скальпель. Один проход. Слева направо. Без второго. Без исправлений. Как на вскрытии. Как на занятии в анатомическом театре.

Картер видел такие разрезы. В морге. На столах. На телах, которые вскрывали студенты-медики, уверенные, точные, равнодушные.

Кровь почернела и стала липкой на воротнике рубашки. Тёмная. Почти чёрная. Картер не смотрел на неё. Смотрел на линию разреза. На её чистоту. На то, как убийца держал скальпель. Уверенно. Без дрожи. Как человек, который делал это много раз. Не на живых. На мёртвых. В морге. Под лампой. В перчатках.

И тогда Картер увидел сейф.

Он стоял за столом. Встроенный в стену. Дверца открыта. Не взломана. Открыта. Код знали. Или сейф не был заперт.

Внутри не было денег. Не было бумаг. Не было папок с компроматом, которые Картер ожидал увидеть в сейфе психиатра, лечившего полицейских и судей. Только пыль, стопка просроченных счетов за электричество и две старые кассеты VHS валялись поверх всего этого.

А глубже, прижатые к задней стенке, лежали два предмета.

Детский рисунок. И медицинский скальпель.

Рисунок был выполнен карандашом и фломастером. Бумага пожелтела. Уголки загнуты. Дом. Дерево. Солнце с лучами-палками. И человек. Без лица. Просто овал. Две точки. Линия рта. И подпись внизу, детским почерком, кривым, с нажимом: «Наш дом. Мама и я».

Скальпель лежал рядом. Чистый. Блестящий. Ни капли

крови. Как будто его только что достали из стерильной упаковки. Или как будто его вымыли. Тщательно. С любовью.

Картер протянул руку. Коснулся рисунка кончиками пальцев. Бумага была холодной. Сухой.

Он перевернул её. На обороте, шариковой ручкой, мелким почерком, аккуратным до тошноты: «Роуз-стрит, 412. Март. Ему было семь».

Воздух в комнате стал густым. Картер почувствовал, как лёгкие перестали раскрываться до конца. Вдох на три четверти. Выдох на половину. И ещё четверть воздуха не хватало.

Он положил рисунок обратно. Медленно. Как кладут вещь, которая может взорваться.

И тогда он увидел зеркало.

На стене. Прямо напротив кресла. Вейн сидел лицом к нему. Мёртвый. С перерезанным горлом. И смотрел в зеркало. Или зеркало смотрело на него.

На поверхности, красной помадой — густой, размашистой, с нажимом, так что в некоторых местах стекло было поцарапано, — было написано. Не «ТЫ ОПОЗДАЛ». Не «ТЫ СЛЕДУЮЩИЙ». Не предупреждение. Не угроза. Цитата. Из протокола. Из того самого протокола, который был уничтожен много лет назад. Который не существовал. Который не должен был существовать. Который Картер не помнил. Но рука помнила. Рука всегда помнила раньше головы.

«В шкафу было темно, детектив. Вы обещали вернуться».

Картер прочитал. Один раз. Второй. Третий. Слова не менялись. Буквы не складывались в другую фразу. Они стояли. Красные. Жирные. На мёртвом стекле. Над мёртвым психиатром. В запертой комнате.

Пол не качнулся. Просто стал чужим. Как в квартире, где прожил двадцать лет и вдруг не узнаёшь обои. Как будто из-под ног вынули одну доску. Одну. Но именно ту, на которой стоял.

Поле зрения сузилось. Стены кабинета двинулись внутрь. Звук дождя отдалился, стал глухим, как из-под воды. В ушах зазвенело. Высоко. Тонко. Одна нота, которая не прекращалась и нарастала.

Картер почувствовал тошноту. Не в желудке. В горле. Ком. Горячий. Кислый. Он сглотнул. Не помог. Сглотнул ещё раз. Колени подогнулись. Не резко. Медленно. Как подламывается то, что держалось слишком долго. Опора исчезла. Он упал. На колени. На паркет. Руки упёрлись в пол. Пальцы растопырились. Ногти заскребли по лаку. Рот открылся. Воздух шёл рывками, как из пробитого колеса, и Картер не мог понять, почему лёгкие не слушаются, хотя грудная клетка ходит ходуном.

— Уилл! Уилл!

Голос Рамиреса. Хриплый. Близкий. Рядом. Картер не видел его. Видел пол. Видел свои пальцы. Видел царапины, которые оставил кто-то шваброй. Четыре борозды. И красное. На стекле. В шкафу было темно. Вы обещали вернуться.

Кто-то схватил его за плечо. Коул. Или Рамирес. Картер не различал. Звон в ушах поглощал всё. Он хватал ртом воздух, и каждый вдох был рваным, коротким, недостаточным, и он не мог остановиться, не мог перестать хватать, потому что если перестанет, то умрёт, и это было не рациональное знание, а животное, древнее, из той части мозга, которая не умеет думать, а умеет только выживать.

Рамирес оказался перед ним. На коленях. Лицо близко. Бледное. Как простыня, которой накрывают то, что больше не дышит. Губы двигались. Картер не слышал слов. Слышал только звон. И стук. Свой. В висках. В груди. В зубах.

И тогда Рамирес посмотрел на зеркало. На надпись. На красные буквы.

И Картер увидел, как его лицо меняется. Не бледнеет дальше. Белеть уже некуда. Меняется. Становится другим. Старше. На много старше. Как будто кто-то сдул с него пыль и показал то, что было под ней всё это время.

Рамирес отступил на полшага. Рука потянулась к дверному косяку, как к опоре. Пальцы сжались на дереве. Костяшки побелели.

Рамирес знал эту фразу. Знал, откуда она. Знал, кто её написал. Знал, что она значит. И столько лет жил с этим знанием. Молча. С улыбающимися усами. С рыбалкой. С напольными часами, которых не было.

Они смотрели друг на друга. Картер с пола. Рамирес с колен. Между ними три метра паркета и больше двадцати лет

лжи. И дождь стучал в заколоченное окно. И мёртвый Вейн смотрел в зеркало. И красные буквы не исчезали.

И Картер дышал. Хрипло. Рвано. Животным. И не мог остановиться. Потому что остановиться значило признать. Что шкаф был. Что мальчик был. Что он обещал вернуться. И не вернулся.

Двадцать пять лет. А на обороте детского рисунка, в сейфе мёртвого психиатра, лежал скальпель. Чистый. Блестящий.

ГЛАВА 2. ПЕПЕЛ И ЦЕПОЧКА

Вода капала с карнизов ровно, надоедливо — как все краны в чужих квартирах. Картер стоял под козырьком. Жёлтую ленту уже заменили. Ночная смена уехала. Патрульный у фургона узнал его, дёрнул подбородком — вверх, к выходу, — и отвёл глаза раньше, чем Картер успел прочитать в них жалость. Люди теперь отводили глаза. Не от убийцы. От него. Уильям Картер двадцать лет был тем, на кого смотрят с надеждой. Теперь на него смотрели, как на вывеску сгоревшего театра.

Коул стоял в паре шагов, глядя на мокрый асфальт, и медленно перебрасывал жвачку с одной щеки на другую. Кофе не предлагал. Говорить не пытался. Был рядом.

Сара сидела в угловой кабинке, спиной к стене. Перед ней — стакан воды без льда и закрытый ноутбук. На крышке белела наклейка, но с порога текст не читался. Тёмная рубашка застёгнута на все пуговицы. Волосы убраны так туго, что кожа на висках натянулась. За пять лет она стала похожа на собственный профиль из дела: чёткая, плоская, без лишних линий.

— Ты сменила виски на воду, — сказал он, садясь напротив.

— Я за рулём.

Картер потянулся через стол, взял солонку, поставил стоймя.

— Это дверь. Это цепочка. — Он положил рядом монету, прижал ребром к солонке. — Латунь. Восемьдесят граммов, я взвесил в голове. Паз вертикальный. Ход тугой. Смазка высохла лет десять назад. Чтобы протащить такую болванку под углом в девяносто градусов, нужен магнит размером с утюг. И он должен скользить по лаку.

— И что?

— Лак цел, Сара. Я смотрел. Ни царапины. Ни потёртости. Ни тени от металла. Если бы там прошёл магнит такой силы, он оставил бы след. Дверь Вейна чиста. Твоя теория не проходит.

Сара смотрела на солонку и монету. Потом на него.

— Тогда как он вышел?

— Не знаю.

— Ты всегда знаешь.

— Значит, сегодня я тупой.

— Ты не тупой. Ты скользишь.

Она сказала это ровно. Без вопроса. Без паузы. Слово ударило его — точное. Шаткость он чувствовал весь день, с утра, с первого глотка остывшего кофе. Надпись на зеркале горела в голове. Про надпись, про паническую атаку, про бледного Рамиреса он не сказал.

— Не начинай, — сказал он.

— Я не начинаю. Я заканчиваю. Пять лет назад ты скользил так же. Перед тем как уйти. Я помню этот взгляд. Ты смотришь на меня, а видишь не меня.

— Я вижу тебя, Сара.

— Тогда посмотри мне в глаза и скажи, что ты не был у Вейна пять лет назад. Что ты не был его пациентом.

Картер молчал. В баре пахло старым деревом и лимонным средством для пола. За стойкой хрипел холодильник. Официантка, протирая стаканы, подняла глаза, узнала его, и лицо её изменилось. Она быстро отвернулась.

— Я был его пациентом, — сказал Картер.

Сара не моргнула. Палец перестал двигаться по краю ноутбука.

— Что он тебе делал?

— Помогал.

— Что он тебе делал, Уильям.

— Стирал.

Слово вышло плоским. Сара смотрела на него. В ней что-то складывалось — она собирала его заново из кусков, которые он дал, и кусков, которые прятал.

— Стирал что?

— Лицо, — сказал Картер. — Лицо Марии. Я попросил. Я заплатил. Чтобы он забрал. Я не мог с ним жить. Он забрал. И я не помню её. Пять лет не помню.

Сара открыла ноутбук. Экран светился голубым. Она развернула его к Картеру. Журнал доступа к архиву окружного морга: длинные колонки дат, учётных записей, номеров файлов. Палец скользил по строкам, отмечая найденное.

— Кто-то скачивал твои дела, — сказала она. — Из архива морга. Ночные смены. Последние семь лет. По чуть-чуть, по одному файлу за ночь, чтобы не поднять тревогу. Дело Вейна. Дело, которое ты вёл по запертой комнате в Глендейле. Дело о смерти судьи. Всё, что связано с тобой и с запертыми комнатами.

Картер наклонился к экрану.

— Чья учётная запись?

— Помощник судмедэксперта. Стаж семь лет. Имя я не вижу. Гриф выше округа. Кто-то закрыл эту запись так, что мне пришлось идти в обход через резервный сервер.

— Семь лет, — повторил Картер.

— Семь лет он читал тебя. Каждую ошибку. Каждый провал. Каждую царапину на косяке. Он учился у тебя, Уильям. А потом начал повторять.

Бар гудел вокруг. Кто-то засмеялся у стойки. Картер смотрел на колонки цифр, во рту пересохло. Он сглотнул, но горло отказалось пропускать слюну.

— Последний запрос, — сказала Сара. Голос стал ниже.
— Смотри на дату.

— И что?

— Вот тут самое странное. Файл, который он скачал, не должен существовать.

Сара нажала клавишу. На экране всплыла карточка дела. Короткая, серая, с пометками. Картер прочитал первую строку и перестал слышать бар.

Дело № 91-0442. Убийство. Ривера, Мария. Роуз-стрит, 412, Комптон. Статус: закрыто. Протокол осмотра места происшествия: УНИЧТОЖЕН по распоряжению заместителя начальника управления.

— Я не знаю, — ответила Сара на его немой взгляд. — Но я вытащила фрагмент. Одну строку из журнала полей. Больше сервер не отдал. Смотри.

Она развернула экран ещё на дюйм. Картер наклонился так близко, что лоб почти коснулся пластика. В поле «Свидетели на месте происшествия», ниже имени соседки, ниже номера патрульной машины, была одна строка, вбитая сухим канцелярским языком. А рядом, поверх, другая — от руки, размашисто, красными чернилами.

Несовершеннолетний. Возраст прибл. 7 лет. Место обнаружения: шкаф, первый этаж.

И ниже, красным: В ПРОТОКОЛ НЕ ВНОСИТЬ.

Картер перестал дышать. Тело отказалось. Воздух остановился где-то в горле, в ушах зашумело. Бар, Сара, экран — всё поплыло. Он схватился за край стола. Пальцы нашли дерево. Дерево было настоящим. Это не помогло.

Шкаф.

Надпись на зеркале вспыхнула перед ним. Буквы, выведенные кровью или помадой — он не помнил чем, помнил только их. Они больше не были загадкой. Они были голосом. Детским. Тихим. Из темноты.

В шкафу было темно, детектив. Вы обещали вернуться.

— Уильям. — Голос Сары доносился издалека. — Уильям. Посмотри на меня.

Он смотрел на экран. На слово «шкаф». На цифру «7». На красное «не вносить». Под тонкой плёнкой, натянутой над чем-то очень глубоким, что-то треснуло. Плёнка прогнулась, и из-под неё потянуло холодом, запахом бетона и чем-то сладковатым, тёмным. Он вспомнил не лицо — он никогда не вспоминал лицо. Он вспомнил звук. Скрип дверцы. Как будто кто-то качался в темноте и не дышал.

— Уильям, — сказала Сара резко, и её рука легла на его запястье. Холодная, твёрдая. — Кто этот ребёнок?

ГЛАВА 3. ИМЯ В АРХИВЕ

Морг округа Лос-Анджелес прятался под зданием, которое с улицы выглядело обычной административной постройкой семидесятых: бежевый кирпич, узкие окна, флаштоки без флагов. Лифт уходил вниз, на три пролёта под землю. С каждым этажом воздух густел, холодел, наливался тем особенным запахом, который не выветривается из одежды даже после стирки.

Картер знал этот запах. Двадцать лет в отделе убийств вшили его в обонятельные рецепторы намертво. Он давно перестал его замечать. Замечал, когда возвращался домой, и жена говорила: ты пахнешь работой. Теперь некому было говорить. Теперь он пах работой, и никто не замечал. Прогресс.

Он вышел на минус третьем. Коридор — кафель цвета старой кости, флуоресцентные лампы. Одна мигала с частотой, от которой за висками начинало ныть. Где-то в глубине гудел компрессор холодильной камеры — низко, утробно, как дышит спящее животное.

Картер шёл мимо дверей с матовыми стёклами. На табличках — имена, которых он не знал. Доктор Арендт. Доктор Фелпс. Доктор Колдуэлл.

Он остановился перед последней дверью. Прочитал имя дважды. Колдуэлл. Т.

Толкнул дверь.

Кабинет — метра четыре на три, заваленный папками и распечатками, но при этом пугающе аккуратный. Не привычка человека, выросшего в порядке. Дисциплина того, кто когда-то жил в хаосе и теперь компенсировал это с маниакальной точностью. Ручки лежали параллельно друг другу. Папки — корешок к корешку, без миллиметра отклонения. Клавиатура — ни крошки, ни пылинки между клавишами.

За столом сидел мужчина. Молодой — тридцать, может, тридцать два. Худощавый, с тонкими запястьями и длинными пальцами, которые перебирали край медицинской карты. Лицо — из тех, что скользят мимо взгляда в метро, в очереди, в зале суда. Тёмные волосы, коротко стриженные. Карие глаза с неожиданным зелёным кольцом вокруг зрачков. Он поднял голову, когда Картер вошёл. Не встал. Указал на стул подбородком.

— Садитесь. Папка на столе. Не трогайте фотографии без перчаток, я их только разложил.

Картер сел. Стул для посетителей скрипнул под его весом — жёсткий, пластиковый, намеренно неудобный. Звук был такой, будто стул протестовал против самого факта чьего-то присутствия.

— У вас все стулья такие?

— Для посетителей. Для сотрудников удобные. — Колдуэлл не поднял глаз от карты. — Вы не сотрудник.

— Справедливо.

Колдуэлл перевернул страницу. Закрыв карту. Положил стопку ровно. Посмотрел на Картера — не с интересом, не с враждебностью. С той лёгкой скукой, с которой смотрят на сотого посетителя за неделю.

— Вейн. Вы по Вейну.

— Я по Вейну.

— Заключение готово. Подписано. Копия в управлении.
— Колдуэлл придвинул папку через стол. — Но вы пришли не за копией. Вы пришли посмотреть. Все приходят посмотреть.

Картер не взял папку. Смотрел на руки Колдуэлла. Чистые ногти, подстриженные почти до мяса. На указательном — тонкий белый шрам, старый, давно заживший.

— Вы давно здесь работаете?

— Семь лет. — Колдуэлл сложил руки на столе. Не скрестил. Положил. Ладонь к ладони. Как человек, который привык держать руки на виду. — До этого — интернатура в Куантико. Специализация — закрытые помещения, реконструкция механизмов запираания.

— Интересная специализация.

— Практичная. Семьдесят три процента убийств в Лос-Анджелесе инсценируются под несчастные случаи или суициды. Замки, двери, окна — это язык, на котором убийцы разговаривают с нами. Нужно просто научиться читать.

Колдуэлл произнёс это без нажима. Без лекторской интонации. Как говорят о чём-то, что повторяешь каждый день

и что давно перестало быть интересным, но остаётся единственной вещью, которую ты умеешь делать хорошо.

— Что вы можете сказать о смерти Вейна?

Колдуэлл открыл папку. Достал фотографии места преступления. Разложил перед Картером — не бросил, не сунул, а именно разложил, одну за другой, с той точностью, с которой раскладывают хирургические инструменты на лотке.

— Горло перерезано скальпелем. Хирургическая сталь, лезвие номер десять. Разрез чистый, без рваных краёв. Убийца знал анатомию, знал, где проходит сонная артерия, где яремная вена. Один проход. Без второго. Без исправлений.

Колдуэлл не повышал голос. Не менял позу. Не моргал. Просто говорил, и слова ложились на стол, как фотографии, — ровно, одна за другой.

— Но это не самое интересное.

— Что же?

— Комната была заперта изнутри. Ключ в замке со стороны кабинета. Окно заколочено гвоздями. Вентиляция на винтах, пыль не нарушена. Камин закрыт чугунной заслонкой. — Колдуэлл поднял глаза. — Идеальная запертая комната.

— Но вы не верите в самоубийство.

— Самоубийцы не перерезают себе горло скальпелем. — Колдуэлл произнёс это так, как произносят правду на похоронах: с уважением к факту, даже если факт неприятен. — Рука не дотянется под нужным углом. Болевой шок остано-

вит движение раньше, чем лезвие дойдёт до артерии. Это убийство. Инсценировка.

— Как убийца вышел?

— Не знаю.

Колдуэлл сказал это без паузы. Без раздумья. Не как человек, который не хочет отвечать. Как человек, который отвечает честно и не видит в этом ничего унижительного.

— Я констатирую то, что вижу. А вижу я невозможное.

Картер наклонился вперёд. Локти на колени.

— Вы упомянули скальпель. Номер десять. Вейн был психиатром, а не хирургом. Откуда у него скальпель?

Колдуэлл моргнул. Один раз. Медленно.

— Хороший вопрос. В его кабинете скальпеля не было. Я проверил весь инструмент: только стетоскоп, неврологический молоточек, стандартный набор для осмотров. Скальпель принёс убийца.

— И унёс с собой.

— Вероятно. Хотя это странно. Большинство убийц оставляют оружие на месте: паника, спешка, желание быстрее уйти. Этот забрал. Значит, инструмент для него что-то значит. Либо он не хотел, чтобы мы установили источник.

Картер смотрел на фотографию горла Вейна. Чистый разрез. Один проход. Как на занятии в анатомическом театре.

— Вы когда-нибудь видели что-то подобное? В практике?

Колдуэлл откинулся на спинку кресла. Посмотрел в потолок. Потом в окно. За окном не было ничего, кроме бетон-

ной стены шахты лифта, но он смотрел туда, как смотрят в место, которое не здесь. Не сейчас.

— Я был маленький. — Голос стал тише. Не драматичнее. Тише. Как человек, который говорит то, что не говорил двадцать лет, и не уверен, что слова ещё работают. — Семь. Может, восемь. Взрослые шептались. Горло. Что-то с горлом. Я не видел. Мне не давали смотреть.

Пауза. Колдуэлл посмотрел на свои руки. Положил их обратно на стол. Ладонь к ладони.

— Но я слышал. Из-за стены. Крик. Короткий. А потом не крик. А тишину. Тишина была хуже.

Картер не шевельнулся. Воздух в кабинете стал плотнее. Лампа над головой гудела. Компрессор за стеной делал вдох и выдох.

— Вы из Комптона, — сказал Картер. Не вопрос. Наблюдение. — Комптон. Роз-стрит. Вы выросли в трёх кварталах от того дома.

— В двух. — Колдуэлл произнёс это без интонации. — Но кто считает.

Пауза. Он снял очки. Протёр их краем халата. Надел. Снова снял. Положил на стол. Без очков его лицо стало моложе, беззащитнее — как будто стёкла были не для зрения, а для защиты. Барьер между ним и собеседником. Без барьера он был просто человеком, который говорит то, что не говорил.

— Приёмная семья забрала в восемь. Сан-Фернандо. Газон. Велосипед. Нормальное детство, если не считать, что

оно чужое.

Картер молчал. Ждал. Не торопил. Двадцать лет допросов научили: если человек начал говорить сам, не перебивай. Не кивай. Не поддакивай. Просто будь. Дыши рядом. И он скажет.

— Та девочка, — сказал Колдуэлл. — Четырнадцать лет. Полиция приехала поздно. Я не видел тела. Конечно, не видел. Мне было семь.

Он замолчал. Посмотрел на стену. На расписание вскрытий. На календарь. На что угодно, кроме Картера.

— Но я слышал. Я уже сказал. Крик. А потом тишину. И взрослые шептались. Горло. Что-то с горлом. И я не понимал. Семь лет. Не понимаешь. Просто запоминаешь. Звук. Интонацию. То, как мать закрывает рот рукой и уходит в кухню. То, как сосед курит на крыльце и не смотрит никому в глаза.

Картер слушал. Не записывал. Не кивал. Просто слушал, и в груди у него что-то двигалось, медленно, как сдвигается с места камень, который лежал слишком долго.

— У неё была семья? — спросил Картер.

Колдуэлл посмотрел на него. Не сразу. Через секунду. Как человек, который возвращается издалека.

— Мать лишили прав за год до этого. Отца не было. Но был младший брат. Семь лет.

— Что с ним стало?

— Приёмная семья. Новое имя. Новая жизнь. — Кол-

дуэлл помолчал. — Он очень старался забыть. Но некоторые вещи не забываются. Некоторые вещи живут в тебе, как осколок. Ходишь, работаешь, дышишь — а он внутри. И ноет в дождь.

Картер смотрел на его руки. На столе. Ладонь к ладони. И тогда он увидел.

Папка с материалами Вейна была перевязана шнурком. Не канцелярской резинкой. Шнурком. Тонким, белым, хирургическим. И узел на шнурке был не простой. Не хирургический. Специфический: двойная петля, перехлест, фиксация скользящим концом. Колдуэлл завязал его машинально, пока говорил. Пальцы делали, рот говорил. Руки жили отдельно.

Картер видел этот узел один раз в жизни. На месте преступления Вейна. На шее мёртвого психиатра. Перед тем как скальпель перерезал горло — убийца связывал Вейну руки. Тем же узлом. Тем же самым. Узел, который не найдёшь в учебниках. Узел, который придумал кто-то один. Или выучил в одном месте.

Картер не сказал ни слова. Посмотрел на узел. Посмотрел на Колдуэлла. Посмотрел снова на узел. Запомнил. Не прокомментировал. Запомнил. Двадцать лет службы научили: если видишь деталь, которая не вписывается, — не кричи. Запомни. Крик спугнёт. А память останется.

Колдуэлл проследил за его взглядом. Посмотрел на шнурок. На узел. Не убрал. Не смутился.

— Привычка, — сказал он. — Когда думаю — завязываю узлы. Развязываю. Снова завязываю. Успокаивает.

— Где вы научились этому узлу?

— Не помню. Наверное, в книге. Узлы — они все похожи, если не вглядываться.

Картер молчал. Он чувствовал, как пульс замедляется, как холодок от пластикового стула пробирается через брюки в кожу, как запах формалина становится слаще, гуще, как будто сама комната пытается его удержать.

— Спасибо за информацию, доктор Колдуэлл, — сказал Картер, поднимаясь. — Вы были очень полезны.

Колдуэлл не встал. Не протянул руку. Просто кивнул. Один раз. Коротко. Как человек, который видит сотого посетителя и знает, что сто первый придёт завтра, и послезавтра, и через неделю, и через месяц, и что каждый будет задавать те же вопросы, и что ответы не изменятся, и что он будет сидеть здесь, за этим столом, с ручками параллельно друг другу и папками корешок к корешку, и говорить, говорить, говорить, потому что мёртвые не говорят сами, а кто-то должен.

Картер пошёл к двери. Открыл. Вышел.

Коридор. Кафель цвета старой кости. Мигающая лампа. Запах формалина, въевшийся в одежду, в кожу, в волосы. Картер шёл к лифту, и шаги гулко отдавались в пустоте, и гул компрессора за стеной не прекращался, и лампа мигала, и где-то капала вода, и Картер думал об узле. О шнурке. О

том, как пальцы Колдуэлла двигались сами, пока рот говорил о девочке, о крике, о тишине.

Он сунул руку в карман пиджака — за сигаретами, которых там не было, бросил три месяца назад, — и пальцы нащупали что-то. Бумагу. Плотную. Сложенную вчетверо.

Картер замер.

Он не клал туда ничего. Не засовывал. Пиджак был на нём весь день. С утра. Из дома. Машина. Участок. Морг. Никто не подходил близко. Никто не касался.

Он достал бумагу. Развернул.

Детский рисунок. Дом. Дерево. Человек без лица. И внизу, печатными буквами, старательно, как пишут дети, которые боятся ошибиться:

«В ШКАФУ БЫЛО ТЕМНО, ДЕТЕКТИВ. ВЫ ОБЕЩАЛИ ВЕРНУТЬСЯ.»

Картер смотрел на рисунок. На буквы. На кривой дом. На солнце с лучами-палками. На человека без лица. И чувствовал, как пол под ногами становится чужим. Не качается. Не проваливается. Просто перестаёт быть тем полом, который ты знал. Как в квартире, где прожил двадцать лет и вдруг не узнаёшь обои.

Он не помнил, чтобы обещал. Двадцать пять лет он не помнил. Но кто-то помнил за него.

Картер сложил рисунок. Вчетверо. Сунул обратно в карман. Рядом с сердцем, которое вдруг начало биться так, как не билось за последние годы. И пошёл к лифту. Не оборачи-

ваясь. Зная, что оборачиваться нельзя. Потому что за спиной, через матовое стекло двери с табличкой «Доктор Колдуэлл», кто-то сидел за столом. С ручками параллельно друг другу. С папками корешок к корешку. С узлом на шнурке, который он завязал машинально, пока говорил о крике и тишине. И не смотрел Картеру вслед. Или смотрел. Но не оборачивался.

Лифт дёрнулся. Поехал вверх. Три пролёта. Воздух менялся. Формалин слабел. Хлорка отступала. А рисунок в кармане грел ладонь через ткань. И буквы горели. И шкаф не закрывался. Двадцать пять лет не закрывался. И никто не приходил. И никто не открывал. И мальчик сидел. И считал вдохи. И ждал.

ГЛАВА 4. ОСКОЛКИ И ИЗНАНКА

Ветра Санта-Ана несли сухую, злую пыль. Она скрипела на зубах, забивалась в поры, и Лос-Анджелес в такие дни становился раскалённой сковородой, с которой вот-вот начнёт испаряться асфальт. Картер стоял на пороге особняка Элеоноры Вейн в Голливудских холмах. Левый висок пульсировал в такт с тупой, ржавой болью за глазницей. Он сунул руку в карман брюк, нащупал пластиковый блистер, выдавил бета-блокатор и проглотил всухомятку. Горькая химия осела на корне языка. Через двадцать минут она уймёт дрожь в пальцах. Для пустоты, что гудела в грудной клетке, у неё не было ничего.

Жёлтая полицейская лента, натянутая между колоннами, хлопала на ветру. Картер нырнул под неё, стараясь не задеть головой.

На ступенях его ждал Коул. Жевал жвачку.

— Опоздали, консультант, — бросил он, даже не поворачивая головы. Взгляд прикован к разбитой хрустальной люстре, осколки которой усеивали паркет.

Картер не ответил. Обошёл Коула, вдыхая воздух холла. Под слащавым запахом дорогих свечей из белого воска и сухого эвкалипта пробивался другой аромат. Резкий, медицинский. Спирт-изопропил и растёртая в пальцах мята. Запах операционной, перенесённый в гостиную. Запах Томаса.

— Я сказал, опоздали, — повторил Коул за спиной.

— Я слышал. Молчу, потому что думаю. Ты тоже попробуй.

Коул замолчал. Жевал. Потом сказал:

— Я тоже думаю.

— Жевание — не думание.

— Это мой процесс.

Картер не обернулся. Присел на корточки у подножия опрокинутого дубового книжного шкафа. Пальцы зависли в миллиметре от осколка хрусталя. Не коснулся.

— Это не борьба, Коул. Смотри на веер разброса.

Коул подошёл. Нехотя. Руки в карманах.

— Шкаф тяжёлый. Она пыталась за него спрятаться, он его толкнул. Классика.

— Классика для голливудских сценаристов, которые никогда не видели настоящего насилия. — Картер указал на пол. — Видишь лак? Целый. Ни потёртостей от каблуков. Элеонора весила от силы пятьдесят кило. Чтобы упереться и сдвинуть эту махину, ей пришлось бы вдавить подошвы в паркет. Следов нет.

Он переместился к торцу шкафа. Провёл пальцем по нижней кромке.

— А теперь посмотри сюда. Царапины. Глубокие. Параллельные. Он тащил шкаф. Но не толкал. Тащил. На себя.

Коул наклонился. Прищурился.

— Значит, она не пряталась за ним.

— Она вообще не пряталась. Он двигал его после. Для нас.

— Для нас?

— Для меня. Для тебя. Для камеры. Для всех, кто будет стоять здесь и говорить: видите, борьба. А борьбы не было. Был спектакль. И мы сидим в зале.

Картер выпрямился. Колени хрустнули. Пятьдесят лет. Двадцать на бетоне. Каждый год оставлял в суставах по осколку. Он двинулся вглубь дома, оставляя Коула переваривать.

Гостиная напоминала декорации к фильму о конце света: разодранная обивка итальянских диванов, сорванные со стен картины, обнажившие пустые прямоугольники сейфа, который даже не пытались вскрыть. Книги на полу — не рассыпаны, а разложены. Корешок к корешку. Стопка к стопке. Кто-то ронял их с полок аккуратно, как библиотекарь, который устал расставлять и решил положить.

В центре этого театра, в глубоком кожаном кресле, сидела Элеонора. Голова неестественно откинута назад. На шее, прямо под нижней челюстью, зияла тонкая, почти ювелирная борозда. Хирургическая проволока. Картер не смотрел на тело. Смотрел на комнату. Убийца, который так тщательно инсценировал хаос, не мог оставить случайностей.

Он обошёл кресло по дуге. Не наступая на пятно крови, которое за ночь стало похоже на ржавчину. Посмотрел на стену за камином. Картины не было. Снята. Или сдвинута.

На обоях остался светлый прямоугольник — место, где висела рамка. Картер подошёл. Провёл пальцем по краю. Пыль. Но не везде. В правом нижнем углу прямоугольника пыль была нарушена. Кто-то трогал. Недавно.

Картер наклонился. Посмотрел за край рамы, которая стояла прислонённой к стене, лицевой стороной к обоям. И увидел.

Красный огонёк. Крошечный. Не должен гореть. В выключенном доме, где нет электричества с момента обнаружения тела, где все системы обесточены по протоколу, — красный огонёк не должен гореть. Но горел.

Картер сдвинул раму. За ней, в углублении штукатурки, утопленное на два сантиметра, сидело устройство размером с ноготь мизинца. Объектив. Микрокамера. Современная. С беспроводным передатчиком и слотом для карты памяти. Красный диод пульсировал — запись шла.

— Коул. Неси полевой терминал.

Коул подошёл. Посмотрел на устройство. На Картера. На устройство.

— Мистер Картер, это улика. Нужно вызвать криминалистов, оформить, протокол...

— Это камера, Коул. Улика — то, что на карте памяти. Камера — пластик. Пластик не чувствует. Неси терминал.

Коул ушёл. Вернулся с планшетом. Картер извлёк карту, вставил в порт. Экран ожил. Черно-белая картинка с широким углом обзора. Камера смотрела прямо на кресло. На за-

писи не было звука. Только временные метки в углу.

02:14. Элеонора сидела в кресле. Читала. Не слышала, как он вошёл.

Томас шагнул в кадр. Три шага. Петля на шею. Элеонора дёрнулась. Два удара ног о ковёр. Тишина.

Картер не смотрел на смерть. Смотрел на то, что произошло потом.

Томас начал ломать комнату. Но ломал с математической выверенностью — не наступал в лужи крови, не задевал тело. Сбрасывал книги, переворачивал столы, но каждый жест был рассчитан, как движение шахматной фигуры. А потом он подошёл к камере. Остановился в полуметре от объектива. Медленно поднял правую руку.

Жест. Картер узнал его. Двадцать лет назад, когда они с Рамиресом работали под прикрытием в порту, это был их сигнал. Картер тер большим пальцем костяшку указательного, а затем дважды касался груди. Проводка сгорела. Нас сдали. Уходим.

Томас изменил его. Провёл большим пальцем по горлу. Вдавил открытую ладонь в объектив. И замер. Смотрел в камеру. Не на жертву. Не на комнату. В объектив. В Картера. Через время. Через записи. Через семь лет чужих файлов, прочитанных ночами в морге.

Картер почувствовал, как что-то внутри сжалось. Ощущение, что кто-то двадцать пять лет смотрел тебе в затылок, а ты не оборачивался, потому что не знал. Или не хотел знать.

— Мистер Картер? — голос Коула. Далёкий. — Вы в порядке?

Картер не ответил. Перемотал запись. Дальше. Томас у камеры. Стоит. Смотрит. Потом поднимает руку и показывает средний палец. Медленно. С оттяжкой. Как хирург, который демонстрирует студентам анатомический препарат.

— Он показал мне средний палец, — сказал Картер. — Изящно. С медицинским образованием.

— Что? — Коул наклонился к экрану.

— Ничего. Работай.

Коул работал. Картер перемотал ещё. В конце записи Томас достал из кармана куртки предмет. Поднёс к объективу. Держал три секунды. Пять. Десять. Картер наклонился ближе. Нос почти коснулся экрана.

Блистер. Серебристая фольга. Ячейки. Некоторые пустые. Картер не успел прочесть название — Томас убрал предмет и вышел из кадра. Запись продолжалась ещё четыре минуты. Пустая комната. Тело в кресле. Пыль в луче света из щели между досками на окне.

Картер выключил планшет. Положил на уцелевший стул. Сел. Колени заныли. Спина затекла. Он смотрел на Элеонору. На её откинутую голову. На проволоку, которая врезалась в кожу так чисто, как режут только те, кто делает это каждый день. Не на живых. На мёртвых. В морге. Под лампой. В перчатках.

— Консультант. — Коул стоял рядом. Жвачка исчезла.

Проглотил или выплюнул. Картер не заметил. — Там ещё кое-что. На кухне. В раковине.

— Что.

— Пепел. Как у Вейна. Тот же табак. Сладковатый. С травяной примесью. И два стакана. Один чистый. Второй с отпечатком губ. Помада. Красная.

Картер встал. Пошёл на кухню. Не потому что хотел видеть. Потому что тело требовало движения. Любого. Лишь бы не сидеть в гостиной, где пахло операционной и чужим спектаклем.

На кухне было чисто. Слишком чисто для дома, в котором только что убили женщину. Столы протёрты. Посуда убрана. В раковине — серая горка пепла и два стакана. Картер наклонился. Понюхал пепел. Тот же табак. Дорогой. Сладковатый. Кто-то сидел здесь. Курил. Ждал. Пил из двух стаканов. Один — для себя. Второй — для неё. Перед тем, как подняться наверх. Перед тем, как накинуть петлю.

Он посмотрел на отпечаток губ на стекле. Красная помада. Ровный след. Не размазанный. Она пила спокойно. Не знала. Или знала и всё равно пила.

Картер выпрямился. Посмотрел в окно. Двор. Бассейн, затянутый плёнкой. Кусты, подстриженные в ровные шары. Всё на своих местах. Всё аккуратно. Как в морге.

Коул появился в дверном проёме.

— Мистер Картер. Группа через двадцать минут. Вам нужно...

— Мне нужно ещё десять.

— У меня рапорт.

— Твой рапорт подождёт. Мёртвая женщина уже подождала.

Коул открыл рот. Закрыл. Вышел. Картер слышал, как он бормочет что-то в рацию. Голос молодой, уставший, с той нотой, которая бывает у людей, когда они третий час на ногах и начинают забывать, зачем пришли.

Картер вернулся в гостиную. Обошёл комнату ещё раз. Медленно. Не торопясь. Смотрел не на тело. На стены. На пол. На то, чего не было. Не было следов борьбы. Не было отпечатков, кроме тех, что Томас оставил нарочно. Не было волос. Не было волокон. Не было ничего, что привело бы к нему. Кроме камеры. Кроме жеста. Кроме запаха операционной, который въелся в обои и не выветрится до тех пор, пока дом не снесут.

Картер остановился у кресла. Посмотрел на Элеонору сверху вниз. Её лицо было спокойным. Не искажённым. Не испуганным. Как у человека, который заснул в кресле с книгой и не проснулся. Если бы не проволока. Если бы не борозда. Если бы не то, что глаза открыты и смотрят в потолок, и в них уже нет ничего, кроме стекла.

— Прости, — сказал Картер. Тихо. Не ей. Не себе. Воздуху. Комнате. Том мальчику, который сидел в шкафу и считал вдохи, и вырос, и научился убивать так чисто, что мёртвые выглядят как спящие.

Он вышел из дома. Ветер Санта-Ана ударил в лицо сухим жаром. Пыль забила ноздри. Картер стоял на крыльце и смотрел на жёлтую ленту, которая хлопала на ветру, как флаг страны, которой не существует.

Коул курил у патрульной машины. Увидел Картера, затушил сигарету о подошву.

— Ну?

— Он знал, что я найду камеру, — сказал Картер. — Оставил её для меня. Красный огонёк. В выключенном доме. Как маяк. Как приглашение.

— Значит, он хотел, чтобы мы увидели запись.

— Он хотел, чтобы я увидел жест. — Картер сунул руки в карманы. Пальцы нащупали блистер с таблетками. Две осталось. — Запись — это для протокола. Жест — это для меня. Личное письмо. В единственном экземпляре.

Коул смотрел на него. Молодой. Уставший. С пеплом на рукаве и тенью от недосыпа под глазами.

— Мистер Картер. Вы в порядке?

— Нет.

— Я вынужден спросить.

— Ты уже спросил. Ответ не изменился.

Коул кивнул. Достал из кармана смятую пачку. Предложил. Картер взял. Прикурил от зажигалки Коула. Руки у детектива дрожали. Не от ветра. Не от холода. От того, что ему двадцать восемь и он третий раз на месте убийства, и первый раз видит, как консультант разговаривает с мёртвой женщи-

ной, и не знает, что с этим делать.

Они курили молча. Ветер нёс пыль. Где-то за холмами гу-дел вертолёт. Жёлтая лента хлопала.

Картер докурил. Бросил окурок. Раздавил каблуком. Посмотрел на дом. На окна. На заколоченные ставни. На дверь, в которой ещё час назад лежало тело, а теперь лежала пусто-та.

— Поехали, — сказал он.

— Куда?

— К Саре. Она читает архивы. Семь лет кто-то скачивал мои дела. И я хочу знать, кто. И почему он знает жест, кото-рый мы с Рамиресом придумали в девяносто восьмом.

Коул выбросил окурок. Сел в машину. Картер сел рядом. Двигатель кашлянул, ожил. Они поехали. В зеркале заднего вида дом Элеоноры Вейн становился меньше. Меньше. Ис-чез за поворотом. А запах операционной остался. В ноздрях. В одежде. В памяти.

И жест. Большой палец по горлу. Ладонь в объектив. Средний палец. Изящно. С медицинским образованием.

Картер закрыл глаза. За веками поплыли красные пятна, как после того, если долго смотреть на солнце и закрыть гла-за. Не кровь. Не шок. Просто свет, который слишком яркий и не гаснет, и ты не знаешь, куда деть руки, и куда деть го-лову, и куда деть двадцать пять лет, в течение которых ты не знал, что за тобой наблюдают.

Желудок сжался и ушёл куда-то в район ключиц. Пол не

накренился. Но стоять стало труднее, как на палубе в качку, когда ноги ещё держат, а вестибулярный аппарат уже сдался.

Картер открыл глаза. Посмотрел на дорогу. На пальмы. На небо, которое было белым от пыли и жары. И подумал: Томас не просто убивает. Томас пишет. Каждой комнатой. Каждым трупом. Каждой царапиной на косяке. И Картер — не читатель. Картер — соавтор. Потому что все ошибки, которые Томас исправляет, — его. Картера. И каждая запертая комната — это письмо, которое Картер написал двадцать пять лет назад и забыл отправить. А кто-то нашёл. Прочитал. И ответил.

Своим почерком. На мёртвом стекле.

ГЛАВА 5. ТРИСТА СОРОК СТРАНИЦ

Двенадцать звонков за три дня. Картер не считал — телефон считал сам. Уведомления лежали на экране неоплаченными счетами.

Рамиреса он знал двадцать пять лет. Дольше, чем собственную мать. Дольше, чем помнил лицо первого арестованного. Дольше, чем хранил в кошельке фотографию Сары — до того дня пять лет назад, когда выбросил её в мусорный бак на Юнион-стейшн.

Молчание Рамиреса бывало двух сортов. Первое — «я занят, перезвоню». Второе — «прости, не сейчас». Три дня тишины не подходили ни под одну категорию. Отсутствие категории пугало больше.

Шоссе между Лос-Анджелесом и Сан-Диего в три часа полудни превращалось в конвекционную печь. Воздух над асфальтом дрожал, встречные пикапы расплывались акварелью. Мёртвые цикады на обочине лежали вверх брюшками. Картер вёл левой рукой. Правая висела вдоль тела: повязка, наложенная Томасом в переулке три часа назад, из белой стала бордовой, и каждый раз, когда колёса находили выбоину, плечо отзывалось горячей пульсацией, бьющей вниз, к рёбрам.

Радио он не включал. Тишину в салоне старого «Форда» составляли гул мотора V6, потрескивание пластика на жаре, шипение шин по размягчённому асфальту — и ещё один звук, который он опознал не сразу. Собственное дыхание. Слишком частое для человека, который сидит за рулём.

Он заставил себя выдыхать медленнее. Четыре счёта — вдох. Шесть — выдох.

Томас сказал в переулке — между выстрелами, между кровью, между тем, как третий из людей Архитектора лёг лицом в радужные бензиновые разводы: «Я не даю им тебя убить. Тебя убью я. Когда ты вспомнишь.» Картер крутил эту фразу в голове третий час. Каждый оборот показывал новую грань: не угрозу, а расписание. Не злость, а протокол.

Дом Рамиреса стоял на улице, где все дома были одинаково бежевыми, с одинаково подстриженными кустами и одинаково выцветшими почтовыми ящиками. Рамирес стриг газон агрессивно коротко, как стригут головы в исправительных учреждениях. Привычка двадцати лет службы, не ушедшая вместе с жетоном. Сегодня трава была длиной в четыре пальца. Жёлтая кайма по краям — спринклер не включали неделю.

Картер понял, что что-то не так, раньше, чем увидел дверь. Газон Рамиреса не рос. Газон Рамиреса стригся. Если он вырос — Рамирес не стриг. Если Рамирес не стриг — Рамиреса нет.

Дверь гаража приоткрыта на ладонь. Занавеска в окне го-

стиной — та самая, в мелкую клетку, из «Таргета», две тысячи шестой год, — дёрнута не на привычные шесть дюймов, а на двенадцать.

Картер заглушил двигатель. Цикады в кронах жакаранд пели так, будто от их пения зависела цена на недвижимость. Он сидел, не открывая дверцы, и ждал, пока пульс в висках замедлится до ритма, в котором можно принимать решения, а не реагировать на тени. Свой организм он знал, как знают старую машину — по звуку, по запаху, по тому, как дребезжит на холостых.

Пульс упал. Картер вышел, придерживая правую руку левой, чтобы не болталась при ходьбе, и пошёл к крыльцу по бетонной дорожке, на которой мелом был нарисован классик. Чья-то дочь, давно выросшая и уехавшая, оставила след, который дожди так и не смыли.

Дверь не заперта. Ни царапин на косяке, ни следов отжима, ни вмятин от плеча. Не заперта — как оставляют для того, кого ждут.

Ладонь легла на кобуру автоматически. Двадцать лет мышечной памяти. Пистолет он достал левой. Непривычно. Двадцать лет правой, а теперь левой, и прицел уходит вбок, и это раздражает больше, чем рана. Картер сунул ствол за пояс, под рубашку, и толкнул дверь левым плечом — не раненым.

Запах ударил первым. Не табак, хотя Рамирес курил «Пальма Голд» пятнадцать лет и этот запах вьёлся в штука-

турку. Не лимонная полироль, хотя мебель в гостиной блестела и каждая книга на полке стояла корешком строго по линейке. Третьим слоем, тонким, как лезвие канцелярского ножа, шёл запах стерильности, в которой нет места ничему живому, включая воспоминания.

Картер знал его по сотням осмотров. В доме отставного копа, который жил один и не пил ничего крепче «Модели», этот запах был чужероден, как скальпель в ящике с серебром.

Настенные часы в гостиной стояли. Стрелки застыли на без десяти четыре. Картер машинально глянул на наручные: половина шестого. Кто-то вынул батарейку или остановил маятник. Эта деталь — мелкая, почти бытовая, из тех, которые замечаешь уже после того, как понял, что что-то не так, — напугала его больше незапертой двери. Остановленные часы — не поломка. Жест. Кто-то хотел, чтобы время в доме Рамиреса перестало течь в тот момент, который имел значение.

На стене над диваном — фотография в дешёвой рамке: Картер и Рамирес, лето девяносто девятого, крыша участка в центре, бутылка «Модели» в руке Рамиреса и сигарета в пальцах Картера, который бросит курить в две тысячи третьем, когда Сара скажет, что не будет целовать пепельницу. Рамирес на снимке улыбался так, как умел до Роуз-стрит — широко, с зубами, без складки между бровями, которая появится позже и останется навсегда, как шрам, которого не

видно на коже, но который чувствуешь каждый раз, когда хмуришься. На лбу Рамиреса кто-то нарисовал крестик. Маленький. Аккуратный. Карандашом, мягким нажимом, каким отмечают выкройки или контуры перед разрезом.

Обеденный стол — дубовый, тяжёлый, купленный в комиссионном в две тысячи первом, когда Рамирес развёлся и перевёз сюда половину мебели из того дома, — стоял посреди комнаты. На нём не было ничего, кроме стопки бумаги. Три сотни страниц, может, больше. Формат А4, обычный офисный лист, перевязанный кухонной бечёвкой — не шпагатом из канцелярского, а именно бечёвкой, какой перевязывают жаркое в мясной лавке на Гранд-авеню. Узел затянут с отчаянием человека, запечатывающего бутылку с посланием перед тем, как бросить её в океан, зная, что бутылку найдут, но предпочитая, чтобы это случилось не сегодня.

Сверху лежал лист, исписанный от руки. Картер узнал почерк — круглые буквы, нажим на «т», точка после каждого слова, словно Рамирес ставил печати даже в собственных предложениях, не доверяя грамматике без подкрепления.

Он прочитал стоя, не садясь, потому что чувствовал: если сядет, то встанет уже другим человеком. А быть другим человеком он не хотел — не сейчас, не здесь, не в доме, где пахло чужим спиртом и остановленным временем.

«Уильям. Если ты читаешь это — значит, я не смог посмотреть тебе в глаза лично. Не ищи в этом трусости. Ищи то, что есть: четверть века, за которые я так и не научился

говорить с тобой о том, что мы сделали. Прочти всё. Каждую страницу. Каждое имя. Не пропускай — я знаю, как ты читаешь отчёты: по диагонали, выхватывая суть. Здесь суть нельзя выхватить. Её нужно проглотить. Три месяца. Кофе вместо сна. Это всё, что я знал, и всё, о чём молчал. Прости, что не раньше. Диего».

Бечёвка не поддавалась. Пальцы скользили — пот, смешанный с чужой кровью, засохшей на ладонях ещё с переулка, делал хват ненадёжным. Картер дёрнул сильнее, чем хотел. Бечёвка лопнула с сухим треском, и страницы рассыпались веером по столу.

Он собрал их левой. Правая не слушалась — висела плетью, и каждый раз, когда Картер пытался помочь, плечо простреливало горячим. Перелистывать придётся левой. Пистолет держать левой. Двадцать лет правой, а теперь левой, и это бесило больше, чем пуля в бок.

Первая. «Четвёртая стена. Мемуары Диего А. Рамиреса. Капитана полиции Лос-Анджелеса в отставке». Ниже, другим цветом: «Для Уильяма. Который заслуживал правду раньше».

Первые пятьдесят страниц были тем, что Картер помнил лучше автора: служба в патруле, первая кража со взломом, первый труп — девчонка шестнадцати лет в мусорном баке за корейским магазином, после которой Рамиреса вывернуло в переулке, и он вытирал рот бумажными полотенцами из настенного диспенсера, а Картер держал его за пле-

чо и говорил: «Дыши, Диего, просто дыши, это пройдёт.» Двадцать лет напарничества, описанных человеком, который любит другого и ненавидит себя за то, что эта любовь не помешала ему молчать.

Картер пролистал — он помнил это лучше, чем помнил собственное детство.

Страница сто двенадцатая. Заголовок подчёркнут дважды: «Роуз-стрит. Комптон. Та ночь».

Картер положил ладонь на бумагу и почувствовал, что рука мокрая — не от раны, а изнутри.

«Мы вошли в двадцать три сорок. Задняя дверь. Ты первым, я за тобой. Лестница на второй этаж — кровь на ступенях, свежая, ещё не загустевшая, тёмная в свете фонарика. Ты побежал вверх, крича „Полиция, на пол“, и голос у тебя был такой, каким он бывает только в двадцать шесть лет — без трещин, без сомнений, абсолютный. Я задержался. Не из-за звука. Из-за того, что увидел. Шкаф на первом этаже. Под лестницей. Дверь приоткрыта на два дюйма. Внутри — ребёнок. Мальчик. Семь лет, может, меньше. Худой. Тёмная кожа. Футболка с Бэтменом, которая была ему велика — рукава висели ниже локтей. Он сидел, прижав колени к груди, и держал ладони на рту — не потому, что ему кто-то приказал, а потому, что сам понял: если не зажать рот, крик выдаст. Белки глаз в темноте. Два белых полумесяца. Он смотрел на меня. Я смотрел на него. И я закрыл дверь шкафа. И пошёл за тобой в под-

вал. Мы взяли того, за кем пришли. Дело закрыли. Награды. Рукопожатия капитана. Мальчика в шкафу не было ни в одном рапорте. Ни в моём. Ни в твоём — потому что ты его не видел. Ты бежал наверх. Ты был героем. А я был тем, кто закрыл дверь. Мальчика нашли через четыре дня. Соседи услышали запах. Он умер от обезвоживания. Его звали Маркус Дэвис. Семь лет. Футболка с Бэтменом. Я закрыл дверь, Уильям. И каждый день после этого я открывал её в своей голове и закрывал снова, и так двадцать пять лет подряд, и ни разу не смог оставить её открытой».

Картер не помнил, как встал. Стул лежал на боку. Сейчас он стоял у окна, держась за подоконник раненой рукой, и боль в плече была единственным, что удерживало его в вертикальном положении. Всё остальное — кости, мышцы, вся жизнь уверенности в том, что он знает, кто он такой, — смягчилось и стекало вниз, к полу.

Маркус Дэвис. Семь лет. Футболка с Бэтменом.

Картер закрыл глаза и попытался вспомнить ту ночь. Лестницу. Кровь. Подвал. Он помнил всё — кроме шкафа. В его памяти не было шкафа под лестницей, как не бывает мебели в комнате, из которой вынесли всё и выбелили стены. Он знал — тем знанием, которое живёт не в голове, а в кишечнике, — что шкаф был. Что он, Картер, пробежал мимо, увидел приоткрытую дверь, принял решение не останавливаться и стёр это решение из памяти с эффективностью, которой позавидовал бы любой промышленный шредер.

Он вернулся к столу. Поднял стул. Сел. Перевернул страницу левой рукой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.